

Андрей Грицман

# Спецхран

Андрей Грицман

# Спецхран

Москва

**«Воймега»**

2018

УДК 821.161.1-1 Грицман  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5  
Г85

Дизайн серии: Сергей Труханов

**А. Грицман**  
Г85 Спецхран. — М.: Воймега, 2018. — 140 с.

ISBN 978-5-7640-0209-5

© А. Грицман, текст, 2018  
© С. Труханов, оформление, 2018  
© «Воймега», 2018

Прогулка  
по родному городу



## Прогулка по родному городу

Я засыпал под угасанье гимна,  
когда окно в глубоководном, зимнем,  
начертанном свеченье фонаря  
тонуло в завихренье февраля  
и за Кольцом остывшая заря  
недвижимо плыла в вокзальном дыме.  
У трёх вокзалов, у трамвайных линий,  
коростой покрывал чернильный иней  
у тени Косарева грудь и козырёк,  
лахудру пьяную и Ленина висок,  
суконного прохожего мешок,  
транзитного, из Харькова в Калинин.  
Свечение вечерних позолот,  
усталого стройбата дальний мат.  
Шальной таксист под мёртвым светофором.  
В его кабине фауна и флора,  
бычки и водка для ночного спора.  
Час ночи. Перекрытый переход.  
Охряный ряд, казарменно-петровский:  
Лефортово, Девичье, Склифосовский,  
на Сухаревской в будке — постовой,  
внизу под ним алкаш на мостовой  
с профузным матом, с болью грыжевой  
в снегу солёном ждёт транспортировки  
в кишачий сумрак городских больниц.  
Травмпункт, барокко, в голубях карниз,  
сортир прокуренный с обрывками «Вечёрки»,  
где в душегубке хлорного угара  
сукровица ночного разговора  
под гаснущие вопли рожениц.

Гниющее нутро больших палат,  
безжизненный анабиозный сад,  
сугроб, прожжённый щелочным раствором,  
заброшенный карбидом, «Беломором»,  
у бани столб синеющего пара  
висит, не в силах тронуться в полёт.  
Торжественная морга тишина!  
Соль, сахар, яйца, спирт, чаёк. Луна  
взирает тускло в стрельчатость часовни,  
и бой часов застыл старинноровный.  
Здесь, в вековой листве, у самой кромки  
ложится тихо благодать на нас  
с прозектором, бессмертным диагностом,  
ледеющим на цинковом подносе  
старинную кунсткамеру хвороб:  
испанка, шанкр, скрофула, аорт  
шагреновость, рахит, сап, гумма, зоб  
и мягкие, слоющиеся кости.  
Потом вдоль Самотёки в донных трубах:  
Цветной бульвар, палатка «Субпродукты»,  
по Сретенке — кинотеатр «Уран», комиссионный,  
над Донским тяжёлый дым,  
трамвай, ломбард, тюрьма, «Узбекистан».  
Прогульщика божественное утро.  
Суконная кирпичность старых школ.  
Сардельки, горн, фамилии на «л»  
и тригонометрическая пытка,  
гипотенуза, катет, тёмным утром  
сухие пальцы логики событий,  
бессмысленно ломающие мел.  
Ступеньки, уголь, школьный задний двор,  
сыр «Новость», «Старка», лето, комсомол,  
кусты, где отметелили Косого  
и где сломали целку Карасёвой,

площадка с сеткой, где я как-то слева  
забил через просвет свой лучший гол.  
Бездомный свет заброшенных квартир.  
Давно закрылась медленная дверь,  
ведущая в страну зеркал разбитых.  
Старуха с неводом, старик с её корытом.  
Всё пусто, гулко, настезь всё открыто  
под выцветшим плакатом «Миру — мир!»



\* \* \*

Матросская тишина.  
Тишина в больничных дворах.  
Тополя и крапива, репейник.  
Древние вязы.  
В эту пору летит сквозь эпохи таинственный пух —  
на брусчатку, в окно и на лист,  
на короткие фразы.  
Уплывает, как облако, в бездну страна.  
В тишине только клёкот и гуд,  
новодевичий колокол слышен.  
И седой Чаадаев сидит у окна —  
он грустит по друзьям  
и письмо безответное пишет.

\* \* \*

Гудериан трогает усы.  
Поправляет на груди бинокль.  
Замечает снежинку над выжженным полем.  
Начало конца — думает Гудериан.  
Снаряд пролетает к невидимой цели.  
Генерал разворачивает крупномасштабный план:  
Александров, Вязьма, Химки, Звенигород.  
Дожди, близко зима.  
По небу плывут смертоносные рыбы.  
Застыло всё — поле, лес, озеро.  
И сам Гудериан в безнадежном покое на фото.  
Свет посерел. Зима уже скоро, скоро.  
На мёртвое поле  
снежинки летят — слепые агенты  
ближних и дальних  
переименованных  
стран.

\* \* \*

Ничего не осталось.  
Лишь июньская пухом метель.  
Ещё пару пивных да трамвая кольцо за заставой.  
Да в заросших дворах над площадкой  
футбольная пыль.  
Ну а что мне ещё? Слава Богу, что это осталось.  
И кому там понять, кому вспомнить, кому грустить.  
Нет, не детство, не юность, всё мимо.  
Голубятня сгорела, потерялась суровая нить.  
И покрыт чешуёй мёртвый пластик четвёртого Рима.  
Ничего не осталось.  
И кому там в захлёбе понять?  
Белый город покрасят  
мелкой сетью охранных надзоров.  
Но свободна моя  
по бульварам бредущая память.  
Только следом летит  
не замеченный в сумерках ворон.

## Яма

Официант поставит кружку деликатно.  
По высшему разряду, еле слышно.  
А по утру похмелья клин нещадный  
и даже лёгкий звук — ударом страшным.

Но мрамор столика под кружкой стынет.  
Официанта Сашу за фарцу и прочее  
из «Метрополя» в «Яму» опустили.  
Потом без Саши «Яма» обесточена.

За 20 коп. автопоилка пенисто,  
затем ещё жетон — и кружка полная.  
За рубль гардеробщик — за «Московской»,  
и в наших душах кружка та бездонная.

Актёры роль зубрили, барды плакали,  
художники сарделькой в долг обедали.  
Из «Ямы» парни уходили в армию,  
туда же возвращались после дембеля.

Прощай, Москва, пельменная, пивбарная  
и подворотная, подъездная, морозная.  
Базарная, дворовая, бульварная,  
вокзальная, зенитная, безьямная.  
Безьямная, жетонно-телефонная,  
родная, трёхвокзальная, бездомная.

\* \* \*

Не копи в себе одиночества.  
Разменяй его на углу.  
Не запомнит никто твоё отчество,  
морду в зеркале поутру.

Одиночество — бескорыстное,  
это боль в душе иль в груди.  
То ночное, а то воскресное.  
Твоя тень бредёт позади.

И она навсегда приручена,  
словно старый последний пёс.  
Отнимает она твоё творчество.  
Но и сам ты уже прирос

к этой тени, идущей заживо  
по асфальту чужих столиц.  
Но ведь кто-то ж меня отслеживает?!  
Тоже — из «перемещённых лиц».

\* \* \*

Что ж, говорить на птичьем языке  
пришлось. Легло на сердце, в речь,  
и не забыть, и крепнет голос, но жить не легче.  
Но по-иному и нельзя. Скользит  
стезя, косящий дождь летит в лицо, и что-то в шуме  
нам слышно. Три в уме, а на плечах лишь знаки  
отличия, лишь то, что им доступно.  
Но неважно, мы понимаем, что исхода нет.  
А путь прекрасен, не знаешь, где присесть,  
лаваш и чачу подадут, рядом  
с разрушенным заводом. Дар МиГа  
мимолётного на бреющем полёте.  
Мы это видели, и всё прошло. И ныне мы  
за зоной, за периметром их бед  
и радостей, и лишь всевышний  
подарит встречу, может две  
иль три, с самим собой на брошенных полях  
отъезжих, куда загадочный Макар всё гонит  
своих тельцов прозрачных  
в густеющем тумане.

## Катер

У метро «Краснопресненская» есть дощатое заведение,  
где другу моему подают хинкали  
в особом заднем зале,  
рядом пыльным растением,  
прямо у кухонной двери.  
Там раньше был красный уголок  
и висел портрет Брежнева с Цеденбалом  
на переговорах в Ялте.

Мой друг выпьет «Стандарта», запьёт «Тархуном»,  
пройдёт по тарелкам огнём и мечом,  
но без запарки, закурит и вспомнит мглистый Гудзон  
и прогулочный катер,  
плывущий сквозь лето вдоль пирсов  
и парков, запретных зон,  
где индейскую песню свищет канадский ветер.

Там я сажу за пенне аррабиата, запивая «Вальполичеллой»,  
и смотрю на тот катер,  
идуший к месту встречи, которое,  
естественно, изменить нельзя.

От шпал Metro-North плывёт зола. К воде  
можно подойти совсем близко.  
На другом берегу на скале — замок  
управления парковой полиции.

Какое, в принципе, людям дело,  
что мы эти слова бросаем на ветер.  
Так только и надо. Это и есть — наш метр.

Так, на расстоянии, мы оба смотрим на катер,  
в тарелки, в небо,  
я — на салат, он — на хинкали.

Летучим Голландцем плывёт в Канаду Манхэттен,  
на место встречи, которое  
мы никогда не знали,  
туда, где слова замерзают в полёте,  
в сиянии неоплатного света,  
в огромном, гулком арктическом зале,  
где нас ещё нет,  
пока мы не досказали.



\* \* \*

Если в бездну смотреть достаточно долго,  
бездна глядит обратно в глаза.  
Пора собираться в дорогу, замолкнув,  
выйти из дома, не глядя назад.

Путь этот долог и не обозначен.  
Дверь закрываешь последним ключом.  
В овраг уплывают заборы и дачи.  
Женщина вслед окликнет: зачем?!

Там, за немым, замерзающим полем, —  
необозначенный дальний уезд:  
там жители сыты просыпанной солью,  
там фосфором светится смешанный лес.

Всё глуше я помню родные пенаты.  
Всё ближе граница ничейной земли.  
Но, если дошёл, если был там когда-то:  
там каска твоя, котелок, и лопата,  
и сорванный знак, чтоб потом не нашли.

\* \* \*

Жизнь расточаю, как вода точит камень,  
всё же ищу прозрачный тот волос.  
Нет часового у входа под знаменем,  
за ржавой канавой — дикая волость.

Там нет ни башни, ни паспортного контроля.  
Официальный язык — стрекот, карканье, вой выпи.  
Володя, это мне всё знакомо до боли,  
но я всё же надеюсь, мы с тобой ещё выпьем.

Ты там торчишь у входа в переговорах  
с «ними» — выборы, перевыборы, метишь в глаз им.  
Я прошлогодних листьев ворох  
тщётно пытаюсь поджечь голосом.

Шепчу ли, кричу, молчу — всё одно.  
Ветер относит за ров отголоски.  
Глухо и тускло небес молоко.  
Палые листья не знают русского.

\* \* \*

Начало июня. В Бостоне ураган,  
ледяной дождь, не до чаепития,  
налоги просрочены.  
Дни мои — пёстрая, грубая ткань,  
грустью простроченная.

Она, как дождь, рваными волнами.  
Зонтика нет, как всегда, ты б не забыла.  
В телефонном бедламе гудит: беда, беда.  
Подлодка В. С. проросла вся илом.

Позывные тебе редко передаю.  
Речь моя словно клёкот крана.  
Спешешь прошептать: люблю, люблю..  
Жизнь проходит в поисках храма, хлама.

Так что прости, всё так, как есть.  
Как ни суди — всё ж живое тело.  
Любая приманка — ножевая месь.  
Людмила Васильевна пишет весть  
на влажной доске в белоснежной Москве,  
но неразборчиво, ломким мелом.

\* \* \*

До меня доносится шум и гам.  
Я в зале бессмысленного ожидания.  
Кто-то в город идёт по горячим следам.  
В зале моём дыханье молчания.  
Поезд придёт — кто за кипятком, а кто всухомятку,  
в толпе веселее.  
Я в буфет протолкаюсь бочком.  
На площадке гадкой три истукана с простёртой рукой  
гонят толпу по пыльным аллеям к пруду отчаяния.

Я вроде со всеми, но снова — в мой зал.  
Там на скамье моя книга мерцает.  
Поезд прошёл, опустел вокзал.  
В углу у портрета нету лица,  
но и к провалу, к чёрной дыре  
глаз привыкает.

\* \* \*

Я всю жизнь прохожу из комнаты в комнату.  
Двери без замков, где ногой, где ладонью.  
Анфилада бездонная, а дома нет.  
Как по вагонам, по перегонам.

Где-то остынешь, где-то чайку дадут,  
а то и с отцом присядешь, обсудишь:  
Бильрот, или Ру, или Меккеля.  
Так и время убьёшь, а ночью в бреду —  
в каждой комнате спят калеки.  
Кто с Валаама, у кого-то удар:  
курит и пишет лишь левой, с Божьей помощью.  
В паре кабинетов — там копят навар,  
а другим бубнят: ищите да обращайтесь.

Я вот не ищу ничего, только толкаю двери,  
наугад, навскидку, иду в поисках выхода,  
там, где-то в конце, в бузиной заросшем саду,  
вся жизнь проходит от вдоха до выдоха.

\* \* \*

«Дóма кажется совсем темно, а на озере ещё светло и месяц».  
С давних пор стоит ещё вино в ящике под той скрипучей лестницей.

Замер пастернаковский наш лес, хотя слишком влажно и пропитана дальним океаном ткань небес, но и звёзд тут видимо-невидимо.

Отопью глоток без света. Ночь успокоит тёмным покрывалом.  
Тихо дышит, остывая, печь, словно шепчет, сколько жить осталось...

\* \* \*

Одному оставаться не страшно.  
Надо только едой запастись,  
стать весёлым, как Чебурашка,  
сердце сжать в мускулистой горсти.

Позабыв предсказания и вести,  
разглядеть слюдяной циферблат,  
отраженью сказать: мы же вместе! —  
и уйти в средиземный ландшафт.

Там, присев, как Спаситель, на камень,  
дожевать и фалафель, и хлеб.  
А они доживают пусть сами,  
без меня холодеющий век.

\* \* \*

На лепестках рисунков Хокусаи,  
в твоём лице,  
в изменчивости брызг  
застенчивости линия косая.  
И посмотреть — необозримый риск.  
И дальний бриз летит от океана,  
застыв прикосновеньем на губах.  
Из широко раскрытого окна  
аллея холодна и голуба.  
И солнца ещё нет,  
но не видна луна.  
Её в пруду поймала обезьяна.



\* \* \*

Прохожу по странным городам,  
словно тень по пустырям окраин,  
иногда по тлеющим следам  
в тех местах, где часть души оставил.  
И когда тепло далёких встреч  
освещает угол, лавки в сквере,  
я хотел бы тихо навзничь лечь  
и поплыть к себе на остров веры.  
Хорошо по чуждым городам  
находить себя, вести беседу  
с близнецом своим, когда беда  
подступила, он разводит беды  
гипсовой рукой — и нет его.  
Снова я один, готов к уходу.  
Чёрное ночное молоко  
вдаль зовёт искать живую воду.

\* \* \*

Проснулся в поезде.  
Чай так и не разносили.  
На полустанках бабы с лукошками:  
грибы, малина.  
О жизни подумал — доделаю после.  
В давнем лесу дремлют пехотные мины.

Дичают вдали пустыни,  
белеют погосты, ржавеют вагоны.  
Призраки дальних погасших фабрик.

На чёрных свалках высятся виллы.  
Где-то протяжный крик,  
у сараев ржавые вилы.

Так что решил я заснуть и проснуться  
в мире ином, там, где чай разносят,  
где родные, встречая, смеются, за стол садятся.  
Но оказалось, что поздно, некуда деться.  
Поезд ушёл за кудыкины горы,  
к чужим городам, за синее море,  
где блуждает во тьме усталое сердце.



\* \* \*

Ты живёшь на заливе,  
я живу на реке.  
Весна белым наливом,  
но душа на курке.

Ты стираешь в подвале,  
я звоню в пустоту.  
Сквозь тоску одеяла  
я услышу тоску.

А могла бы с цветами  
жизнь дойти до угла.  
Да могли бы мы сами  
через впадины зла.

От реки до залива  
сквозь туннель полчаса.  
Тянет боль моя слева  
и читает с листа.

## Случай из практики

— Что-то в смешенье времён, в снах забытых вестей,  
в земле неземной поразительно резко.  
Всё совпало, и даже не жизнью, но, знаешь, с жизнью души  
или, лучше, с дыханием памяти мгlistой.

Всё три назад пошло кувырком.  
Тот роман был запутан и эпистолярен.  
Ну, почти. Накалён, всё прогорело дотла,  
на краю. Да, компьютер стоял в нашей спальне.

Письма шли из Москвы, как безумная летопись,  
и ночной метроном отмечал получение.  
Я глаз не смыкала, ждала до утра, по минутам,  
муж — со мной рядом, оказалось — не спал.  
Так мы оба, не зная, длили наше мученье.

Тот, в Москве, писал страшные письма,  
обнажённые, резкие, в сердце, вразнос.  
Днём мы жили втроём в электронной пурге,  
муж за стенкой писал по ICQ, я — ему,  
он, в Москве, — нам обоим.

Треугольник любви, три угла и три угла.  
Оказалось, что в центре — зияние чёрной дыры  
в такое пространство, где сжимается угол  
жизни в незримую точку волнового безумья,  
где в пространстве без времени — мы.

Когда мужа не стало той поздней зимой,  
я боялась открыть переписку в усталом РС.  
Но потом, когда снег... я решилась. Компьютер  
хранил гробовое молчанье,  
словно склеп нашей страсти, и стыл.

Так два года прошло, то ли пыль, то ли цепь  
электронных событий покрыла сплетенья. Я была безутешна.  
В одно ясное утро кто-то память достал и протёр,  
вставил в новый РС, промолвив: «Ничто не забыто».  
Но прибор всё молчал безнадёжно, безгрешно.

И вот память жива, но забыта и не прочтена,  
словно древний и мёртвый язык, только я  
храню образы слов. Но даже не слов,  
а угли эмоций, как золу Дерриды,  
как дописьменный текст,  
живыми забытую ткань бытия.

Память глухо лежит в белой старой коробке,  
две тяжёлых железных пластины на дне,  
две пластины — надгробных плиты, три главы  
моей памяти. Когда я не сплю, по ночам слышен шорох  
усталый то звуков, то слов. Словно тот праязык,  
на котором молчат о любви.

\* \* \*

Я дышу вместе с лесом по мере движения крон.  
Подступает дыханье с пяти окоёмных сторон.  
Замолкает знакомый мне дятел.  
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока  
не наступит пора  
всем зайти на чаёк  
в мой просвеченный дом,  
за вечерний порог.  
И послушать со мной  
хруст заросшего леса,  
тихий скрип половиц.  
Когда там никого —  
тот язык, на котором молчит  
душа места.

Затихает в долине рокочущий джип.  
Патрулирует где-то невидимый МиГ.  
Среди снега тут жил одинокий старик,  
где на стыке дорог стоял дом-магазин,  
а теперь — только снег.  
Навсегда заколочено в доме окно.  
Счёт за свет и за газ просрочен давно,  
и в дверях не видать человека.

Здесь плывут облака ледяных островов,  
исчезают снежинки нetaющих слов  
и уходит на север дорога.  
Постепенно останутся позади  
люди, лодки, грибы и берёзы.  
Будет дом мой стоять, как корабль на мели.

Чистый лист на столе, листопад на дворе,  
вдох и выдох стиха на морозе.

Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,  
никого, ничего. Только ветер  
бормотать будет необъяснимо.  
Так останется остров в лесах — материк.  
Там я сплю чудным сном у слияния рек,  
и мне снится далёкий закатный восток  
и сентябрь с лёгким привкусом дыма.



\* \* \*

Чтобы тебе меня понять —  
дойди до конца улицы,  
на край города,  
мимо туберкулёзного отделения,  
где мужики вечно сидят у открытых окон  
и курят, глядя в никуда.  
На окраине палисадники,  
заросшие бурьяном, яблони одичали,  
белый скелет собаки.  
Но дальше мои места: луговина, овраг,  
глинистый берег реки, буераки.  
Я люблю туда ходить: там тихо и одиноко.  
Время остановилось, прошли все сроки,  
остались позади серые бараки.  
Издаലെка — гул колоколов к вечерне.  
Как меня туда занесло — не знаю.  
Но когда к полуночи всё покрывает  
чёрный бархат,  
душа моя проходит по краю  
к городу на холме,  
им незаметному,  
где нет ни ада и ни рая,  
но, слава Богу, влекут куда-то  
дальние слабые отзвуки света,  
неповторимые грозы летние  
на сетчатке моей играют.

## Сентябрь в Нью-Йорке

Опадают пепельные лица  
осенью в Нью-Йорке.  
Асбестовое солнце не гаснет  
ни днём, ни ночью.  
Многоглазая рыба на суше —  
взорванный остров.  
Крыш чешуя  
зарастает цветами.  
В гуде сирен —  
безответное небо.  
Сумерек астма —  
в аспидном кратере порта.  
Люди бредут на пожар.  
Рыбы плывут — где поглубже.  
Парки пусты на рассвете,  
и только колеблемо ветром  
нежное поле  
проросших под утро сердец.

## Над миром

Который год над городом висит промокший войлок.  
За горизонтом безнадежно сушат порох.  
Молчит «Аврора». Медленный Гудзон  
трепещет. Газолиновые волны  
щемящей дымкой улетают вдаль:

к Неве, Ньюфаундленду, за Полярный круг,  
где шапкой термоядерного взрыва  
сияние небес висит невыносимо.  
Новая Земля: мишень Хрущёва —  
непостижима в водородной гари.  
А с Ноева ковчега смотрят твари,  
как экскурсанты с борта корабля.

Конец столетья. Ликованье душ:  
вольноотпущенниц решением ОВИРа.  
Зелёный мягкий пропуск на три мира,  
где гражданин и всеу обиватель груш  
свободен в выборе истории и сыра.

Открытый мир нас ждёт, разинув пасть,  
и мы готовы сладостно упасть  
в глухую ностальгию невозврата,  
к любимым воротам, где нас больше нет.  
Дана одна лишь жизнь,  
в чём мы не виноваты.

Я — в аэропорту у дикого плаката  
«Air India» с гагаринской улыбкой,  
с тобой невстречи жду в конце эпохи зыбкой,  
невстречи жду с тобой,  
печален, счастлив, нем.

\* \* \*

Каждый отвечает за себя.  
И оставьте Родину в покое.  
До конечной — в поезде судьба:  
Квинс или платформа Бологое.  
Над полями тёмными летит  
тень её в безвременном пространстве.  
Заспанно мерцают на пути  
города — фантомы постоянства.  
В городе зайдёт в безвестный бар.  
Подружившись с барменом навечно,  
выйдет приютиться до утра.  
Как и всем, ей хорошо прилечь бы.  
Утром, не простившись, в путь идти  
в поисках неведомого дома.  
Жизнь души проходит на пути  
от реки до озера и дыма.  
Там, где нет ни родин, ни границ,  
мертвенным луна зияет светом.  
И душа с звездой говорит,  
никогда не ведая ответа.

## Нью-Йорк

Стечение времён, где не находят места  
провалы голосов, зияние извне.  
Сыреющие дни, под сумрачным навесом  
окрестных городов дрожащие огни.

Гниёт река, и, чувствуя начало,  
гербарий осени торжественно раскрыт.  
Прохладный тлеет парк,  
над брошенным причалом  
сочится свет в церковные дворы.

У зеленой — языческие краски,  
и статуя корейца на углу  
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.  
День бесконечен. Я тебя люблю.

\* \* \*

Ветер стих. Зайди за угол, передохни.  
Отпускает в груди. Вверху загорается уголь.  
Боль стихает. Всё одно, куда ни гляди.  
На закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга.

Дым ложится в затихший окопный Гудзон,  
скрывая конечную сущность парома.  
Запретить бы совсем, сейчас как пойдут по низам...  
Все теперь мастера в ремесле покидания дома.

Размножи мою мысль, мою речь, эту грусть  
на волокна, частицы, впусти в этот город, как влажность.  
В общем шуме не слышно, кого назовут,  
да теперь и не важно.

Лучше бы помолчать, когда нету и слов,  
слушать тающий шум погасания пепла.  
Когда смотришь подолгу, Свобода подьёмлет весло  
и Манхэттен плывёт в пионерское лето.

Всё смешалось, разъято, позволено, разрешено.  
И ползёт, как безвкусный озон, безопасная зона.  
Все в прострелах мосты под ничейной луной,  
и дичает ландшафт без тени на полгоризонта.

## Брайтон-Бич

Вот Азнавур с витрины улыбнулся,  
и Танечка Буланова вздохнула.  
В конце косноязычных улиц  
текучий горизонт морского гула.

По доскам деревянного настила  
идёт тоска вселенского укора.  
И продают охотничьи сосиски,  
косметику, лосьон и апельсины,  
из кузова — кинзу и помидоры.

Жёлто-бордовое, серебряно-литое,  
пыль листьев, взгляды спинномозговые,  
но пахнет гаванью, и перхотью, и хной  
от париков Одессы и Литвы.

По вечерам по дымным ресторанам  
дробится свет и плавятся эклеры.  
Гуляет Каин с Авелем и с Ромой,  
вскормлённые тушёнкой по ленд-лизу,  
из тех, кто избежали высшей меры.

Цыгане в блейзерах пьют водку, как хасиды,  
все при сигарах возле поросёнка,  
лежащего, как труп на панихиде,  
и крепко пахнет розовой изнанкой,  
купатами и злым одеколоном.

Я пью до трёх в бездонном Вавилоне  
с сынами Гомеля, Израиля и Риги.

А рядом две реки, но не Евфрат и Тигр,  
к востоку гонят нефтяную пену  
в безвременный потусторонний мир.

Туда, где занесло солёной ватой  
«Титаника» волнистое надгробье,  
где вечный шум опережает время,  
где вместо побережья тает небо,  
и век уже закончился двадцатый.  
А мы ещё живём его подобыём.



\* \* \*

Ветер в долине Гудзона, от гавани ветер и морось.  
Влажный мороз, непривычный переселенцам.  
Мы здесь живём, проживаем и пробуем голос,  
и по ночам уплывает за дальними близкими сердце.

Здесь по зелёным холмам светляки погасают  
только под утро, когда мы запаяны вместе,  
словно по сотам, мостами, туннелями, всеу.  
Так тяжело — предупреждал Заратустра,  
но закрываешь глаза — и увидишь родное:

хляби над ямой Ньюарка, болото Медоулленда  
и Веразано, висящий над выходом в небо.  
И, обживая долину, поймёшь — нет ни гона, ни плена.  
Метка кашрута на корке орловского хлеба.

Зрелищ навалом, но память строки осязает  
ту переключку пропавших в глуши электричек.  
Сколько десятков повязка привычно сползает,  
но и смеёшься уже почти по привычке.

Некогда плакать. Осталось попить из-под крана —  
то ли с похмелья, то ли с таблеткой от нервов.  
Висят по деревьям — совы депрессии странной.  
Но отлетает отчаянье на север, к гипербореям.

Ветер в долине. Из дома, где я проживаю,  
к чуждой Европе к рассвету уплыли солдаты  
первой войны и второй. Расцветают тут к маю  
каменным цветом судьбы гелиотропы.

\* \* \*

Память спит в банке с маслянистым раствором.  
Поезда ушли в неизведанном направлении.  
Нет обратных билетов, стихли слухи и разговоры.  
Везде намечается уже не брожение, а тление.  
Я всё зову, поглядите, что случилось, а вы что?  
Кто в бомбоубежище, кто на танцы, кто на собрание.  
С важным уведомлением медленно идёт срочная почта,  
хотя и небольшое вроде бы расстояние  
по теперешним временам. Смутное время:  
лжедмитрии да иоанновны.  
Но на Кукуе дремлет тихое кладбище.  
Вы про охрану? Давно разошлась охрана.  
Ветер гуляет на кладбище, как на капище.  
Ещё обращусь — господа, неужели забыли вы:  
так ведь и начиналось когда-то, незапамятным августом.  
Спит наш корабль, наполненный рыбами, илом или  
мёртвый давно, так прости ты нас, Господи!

## Север

Кемь, Кандалакша, Умбозеро, Охта.  
Серы каркасы баркасов рыбацких.  
Крест староверов, крест Кивиристи.  
Чёрные вёрсты лесов беломорских.  
Дальние звёзды — соль староверов.  
Здесь мы когда-то оставили душу.  
В зоне охранной, серебряно-серой,  
окрик студёный конвойный не слышен.  
Узкоколейка ведёт к камнелому,  
нечеловеческой страшной плотине,  
я это видел далёко от дома.  
Память затянута паутиной.  
Веткой подать до Полярного круга.  
Берег в следах кострищ и баркасов.  
В небе — полярные дальние дуги  
белого дна пустого пространства.  
Я никогда не расстался со снами,  
с этими меченными местами.  
Лишь одинокая дальняя птица  
в ночь долетает до финской границы.

## История семьи

Когда-нибудь вернёшься и увидишь старый дом,  
висячие цветы и полки с книжной пылью,  
полуоткрытое окно, осенний дым, застывший в воздухе:  
взгляд на иную жизнь.

Лежат на дне его листки, забытые давно.  
Портреты на стене, их странный дальний взгляд,  
когда печаль неявна.

Вселенная семейной их судьбы.

Сто звёздочек мерцающей надежды.

Так мягкой поступью кошачьей жизнь  
обходит тихий дом, по-прежнему хранящий их следы,  
попытку выжить, орех и дуб каркаса того быта,  
который погасал годами.

Так и вышло, как с тысячью других.

Но, раз вернувшись, ты увидишь вновь:

он у камина с мёртвой сигаретой,  
смирившись с невозможностью иного,  
она — ступает вниз легко, тень в ореоле тающего света,  
прозрачная рука простёрта, как Млечный Путь  
над сумрачной планетой.

В ней неоткрытое письмо.

## Колизей

Геометрия смерти.  
Выжженный овал.  
Губы камня.  
Чёрствый хлеб.  
Песнь ветра,  
летающего  
к оливковым рощам памяти.  
Переплетение, смещение.  
Сумерки в долине.  
Туристское месиво днём,  
каменное кладбище ночью.  
Но в воздухе: соль  
на земле Карфагена,  
соль у Масады.  
Тугие паруса,  
направленные в никуда.  
Тупик. Цепные псы  
мёртвых цезарей.  
Сонная сиеста.  
Италийские тени в каменном саду:  
свежая паста,  
древний рецепт соуса.  
Нещадное солнце щедро жарит,  
слепо плавит маску  
на лице гида родом  
из неизвестного  
берберского племени,  
в майке с именем Тотти.

# Спецхран



## Из библейского цикла

Одному — одиночество в полном пространстве вселенной.  
Из тебя я создам её плоть, её кровь.  
Ты забудешь и мать, и отца, и к той брэнной  
ты прильнёшь навсегда, обрета с нею кров.  
И познаешь ты с ней и соблазн, и расплату,  
бесконечность игры неслиянных начал.  
И на грудь упадёт солёная влага,  
капля истины вечной — чтоб любил и страдал.  
Но рептилия зла подползёт, и в оскале  
твоя дева увидит познания плод.  
И с тех пор навсегда во сне одеяло  
будешь тщетно искать, обнимая тепло.  
Чтобы спрятать свои беспокойство и муку,  
но прожить без неё теперь не дано.  
В пустоте осязать ту желанную руку,  
что у чудной богини отбита давно.  
И тогда ты поймёшь, примешь всё без прощенья  
и под звёздами выйдешь в безлиственный сад.  
И услышишь в ночи бессловесное пенье,  
веру в нежность надежды запомнив с утра.



\* \* \*

Издалеку с оливковой веточкой в клюве  
голубь вернулся, замер над нами в полёте.  
Не виден ковчег, замурованный в сказанном слове.  
Мерцает вода в приснопамятном данном нам свете.

Там ли мы ищем ковчег, ведает только слово.  
Берега всё далее уплывают водами и годами.  
Каждый сам по себе. Но я знаю — вернётся снова,  
прилетит тихий голубь, наверно, за нами.

На краю мы и ждём на счастье судна любого.  
Густа мгла неземная, слово плещется всеу.  
Ждём мы всю жизнь, прилетит ли тот голубь  
с тонкой, прозрачной, последней веточкой в клюве.

## Исход 33-34

Я всегда буду с вами, видения моего горизонт  
озарит вашу жизнь,  
вашу смерть, возвращенье в долины.  
Ближе всех подойдёт седой Аарон.  
Никому не дано осознать моё имя.

Я пройду мимо вас  
вдоль расселин в скале,  
щедрой дланью прикрою тот свет наднебесный.  
Ничего не прочесть по сутулой спине.  
Семь веков пролежит под скалой мой опреснок.

Я пройду мимо вас, неопознан, безлик.  
Но порой появлюсь клубом пыли в пустыне.  
Тот, кто мечен, услышит беззвучный тот крик,  
он уже за чертой, где горит моё пламя.

Не узнать до поры, что лежит за чертой,  
на другом берегу бесконечного мрака.  
Только шепчет посланник измученным ртом,  
повторяя во тьме многозначие знака.

## Боргезе

Это место, где время остановилось.  
Пахнет хвоей, платаны немногословны.  
Дышит прекрасным склепом, а не глухой могилой.  
Мысль ящерицей скользит, слава Богу, мимо,  
по камню, выжженному солнцем,  
тронутому старой кровью.  
Наконец я спокоен. Всё со мной и более,  
дышу настоем лучшего, что осталось.  
Этот отвар крепче, если настоян на боли,  
но на вкус не скажешь — много ли, мало.  
И когда отплываешь — в тебе навсегда остаётся  
брат Бернини, друг ненаглядный, сестра Мария  
и небосклон, невозможно синий,  
вода из глубин бесконечно льётся —  
давно позабытое, но родное имя.

\* \* \*

Не понимай, просто принимай,  
как в приёмном покое,  
бельё выдают по субботам,  
потом отпаивают чаем.  
Сказку на сон почитают,  
нальют от горла декокта,  
такое вот баюшки-баю —  
такое вот чувство локтя.  
Тихо в приёмном покое,  
белизна потолка и окон;  
что там, снаружи, теперь не знаю —  
жизнь всё больше напоминает кокон.  
Но слышу тепло, запах и шёпот,  
и всё легче до предпоследнего вздоха:  
снится железнодорожная копоть,  
но и всплесками — римская охра.  
Вот и шабат так отмечаем,  
летит моя тень по сугробам.  
Так и жить будем, глядишь — на улице май,  
а за окном — Оле-Лукойе.

\* \* \*

Как стареет женщина?  
Память о боли,  
крик: «Филип!» — в окно,  
в горящую бездну.  
Забота о пыли.  
Мужчина стареет как волк в диком поле,  
ища реку родную.  
Потом на пределе —  
видит душу свою, как маяк в тумане,  
плывущий, зримый, недостижимый.  
Корабль жизни проходит мимо  
в мерцающем караване,  
и на борту неразборчиво имя.  
Что же остаётся?  
Глоток свободы. Приятие неизбежного счёта,  
счёта, заботы, вечерняя почта.  
О чём Всевышний? Дожить до субботы,  
До Рош ха-Шана, до Эрец —  
и там залечь ночью.  
Камень стынет медленно.  
Звёзды хрупки. Пахнет  
горящим вереском, мусором  
от Рамаллы, сухой кровью.  
Лежу один, поднимая к луне  
озябшие руки, своему покою не веря.  
И на меня, тихо старея,  
глядят удивлённо  
масличные деревья,  
так и не узнав, что они деревья.

\* \* \*

За этой чертой только ржавые рельсы.  
Поезд ушёл в никуда, в непролазную чащу. Вечно  
вращаются где-то с медленным скрипом колёса,  
но и они постепенно умолкнут. Погаснут бесследно.  
Нету там речи, только полуночный ветер  
не предвещает ни быстрой грозы, ни восхода.  
Нам остаётся с тобой, может быть, только вечер.  
Так что разложим съестное на тихой природе.  
Вон, у реки или там, у сырого обрыва.  
Там, где мерещится что-то в кустах и мерцает.  
Дымным столпом иль колонной огня не являет  
себя сторож ночной, превратившийся в иву.

\* \* \*

Под конец он ждал, чтобы она пришла,  
разложила всё как всегда:  
помидоры тонко  
нарезаны, соль, перец.  
Вообще-то всё у нас в рубцах, швах,  
и в окне маячит другой берег.  
А он всё ждёт — жена есть жена.  
Если есть. Тогда и лодка найдётся.  
Ну что там было: не тюрьма, не война,  
так, мотания инородца.  
Но живущий, знаем мы, — несравним.  
И на лёгких стопах она где-то спешит, тончая.  
То ли — пот со лба, то ли чай с утра.  
Всё, что просит он, — чашку чая.

\* \* \*

Всё, что я делаю на самом деле, —  
валяюсь в кустах на перекрёстке  
трёх дорог, пьяный, — кому в отместку?  
Очевидно, себе — так написано в Деле;  
оно хранится где-то в буфете,  
а где же ещё? Старый сыр да мыши;  
там есть всё, что любил на свете,  
но что это — помню всё меньше и меньше;  
здесь, на пути, иногда приляжет  
моя подруга с бутылкой рядом —  
вот мы и дома; плевать, что скажут,  
может другим показаться адом,  
а мы так живём, выбираем дорогу:  
одна — до почты, другая — на реку,  
а третья дорога, наверное, к Богу,  
но туда нельзя дойти человеком.



\* \* \*

Не кручинься, живой твой голос —  
резким криком в их «мохнатые уши».  
Средневековые банки в музее, младенцы бездушные.  
Вяло плещется глицерин неслышимо.  
Да они по-другому и не умеют.  
Пыль на гроссбухах, magister dixit.  
Куда ж нам, бухим мерканцам безродным?  
Летучая мышь и мистер Икс  
в транзитном баре в Денвере или в Литтл-Роке,  
быть им угодным,  
стоять на пороге.  
Продолжай шептать, кричать, божиться.  
Может, ещё по одной?  
Яда нашего чаша бездонная.  
Но помнишь, Эмили, — душа как птица!  
И слова летят на волю бездомные.

\* \* \*

Что же. Так мы и будем жить.  
Дорога скатертью-самобранкой.  
Тень в дверном проёме стоит.  
То появится, то растает.  
Эта музыка не расстроит.  
Да и какая в аэропорте музыка?  
Фон для бара. До полёта выпить.  
И потом лететь на закат.  
Всё получается невпопад.  
Будто тянешь не ту верёвку.  
Но это не важно. Какая к чёрту  
разница. Если сердце-птица вырваться хочет,  
я тебя всё равно люблю.  
Потому и пытаюсь на этом наречье  
принести из Центрального парка веточку,  
подобно Ноеву голубю или соловью.

\* \* \*

Сегодня заглянул в спецхран:  
нашёл всё то же и ещё  
бычок, стакан и список ран  
и раза три через плечо.  
И понял я, как ни живи,  
опивки плавают на дне.  
Кому история нужна  
и вспомнит кто, что всё в говне?  
По-прежнему летит на цель  
в контейнере тестостерон.  
Плывёт, как в сорок первом, пыль,  
и слышны трубы похорон.  
Мерцает одинокий крест  
над бесконечностью равнин.  
В овраге обгорелый ствол  
стоит, как верный гражданин.  
Сегодня заглянул в спецхран:  
там пыль на миллионах дел,  
и человек кричит во сне,  
лицо его во тьме как мел.

\* \* \*

Я не знаю, имеет ли смысл  
дальше всё это объяснять.  
Я для них уж давно исчез,  
и с меня больше нечего взять.  
Про меня они знали давно:  
потеряюсь в чужих городах.  
Буду пить чужое вино,  
и меня не найдёт Госстрах.  
Не беда, это жизнь идёт  
и стучится в глухую дверь.  
Может, кто-нибудь там и ждёт.  
Но скорей всего — там ОВИР.  
Я войду — увижу, кто был,  
вспомню всех, кто были со мной,  
с кем живую я воду пил.  
А тебя не видеть давно.  
А тебя не видеть вокруг.  
В пустоте повисла рука.  
Где ты? Вот и замкнулся круг.  
Говорят: унесла река.

\* \* \*

Мы с тобой на всё это смотрим  
с обратной стороны Луны.  
В свете неровном ветер  
проносит тени и сны.

Что же поделать? Возврата нет.  
Остаётся ловить  
зеркальцем меркнувший свет.  
Терять больше нечего нам тут, на краю.  
Вот мне и весело — сам себе я пою:

где же ты, милая, меня заносит метель,  
клён мой опавший,  
смертный дальний мотель.  
Слякоть на родине,  
злой городской частокол.  
Землю родную услышишь  
навзничь или ничком.

Потому что я, друг мой,  
на другой стороне.  
Друг мой Куинджи плывёт на тёмной волне.  
Так длится далёкий беспмятный срок.  
Слышен лишь странникам тающий крик.  
И там мне с тобой так спокойно, легко.  
Слава Богу — всё это так далеко.

\* \* \*

Серый день: ни комментов, ни лайков.  
Почитать, что ли, Кафку с утра?  
И пора бы пожить без хозяйки  
и камней подсобрать со двора.  
Вот и воду в мурашках разлуки  
представляет холодный Гудзон.  
Напиваться мне недосуг, и  
ведь такой у нас был уговор.  
Тогда выть на луну виртуально  
остаётся мне, строчки низать,  
делать что-нибудь нелегальное:  
заглядеться на чей-нибудь зад.  
Одиночество — странная школа.  
Когда в ночь отплываешь во тьму  
с клонопином, без валидола.  
И кому позвонить — не пойму.

\* \* \*

Фейсбук мне предлагает дружбу —  
послать запрос умершим, тем,  
чьи адреса мне знать не нужно.  
Они являются во сне.

Курт, Саша, Нина, Джек и Дебра.  
Они отплыли далеко.

Но чувствую, что где-то слева.  
Гляжу и вижу молоко —  
завесу несуществования.

Компьютер видит сквозь туман:  
улыбки, тайны и признанья,  
Не понимая, что обман  
лишь отменяет голос звука  
и остаётся бледный след.  
Сквозит бессмертная их мука.

Ко мне доходит слабый свет  
и наполняется дыханьем,  
когда на прочной нити строк  
растягивается расстояние  
на неопределённый срок.

\* \* \*

С ними со всеми я связан прозрачными нитями.  
Грибница любви, и в центре я — мухомор.  
Им хочется выть от тоски, хочется выть и мне,  
но тихо, келейно — такой уж у нас уговор.

Ночью как будто плывёт черепная коробка,  
словно ладья за Еленой до Трои в табачном дыму.  
Ночью становится пусто, волгло и знобко,  
и незаметно такое идёт — не сказать никому.

Но хорошо уплывают прозрачные строки  
в полночь, туда, где ширяет небесный Макар  
зелье своё, ну а я, как всегда, не закончив уроки,  
мысленно мячик гоню, и звенит тротуар.

Женские души дрожат в темноте, как лампы,  
в бархате ночи обманчив их мягкий полёт.  
Но расцветают цветы первобытного сада,  
и за оградой всю жизнь она меня ждёт.



\* \* \*

Небо будет сине и бездомно —  
радио бессонное твердит.  
В головном мозгу от телефона  
оториномордоменингит.  
По утрам тут трафик хоть залейся.  
Грузовик пылает, говорят.  
Если жизнь перевести на Цельсий,  
сколько дудок было б для ребят!

\* \* \*

Окончательный ордер так и не пришёл.  
Ваучер просрочен, и листва опала.  
Но, в принципе, оказывается всё хорошо:  
хватает бумаги, вина и кошерного сала.  
Душа за душой следит в перископ подлодки.  
Хотя давно пора пользоваться телескопом.  
Сюда регулярно доходят метеосводки.  
Да кому до них дело? Выпьешь по стопке,  
и снова за дело, но не покидает ужас —  
что это и есть последнее стихотворение.  
Звук по утрам безнадёжно сужен.  
Бесполезно это ночное вечное бдение.  
Но жизнь сама подводит свои итоги.  
На ничейной земле расставляет полосатые вехи.  
Пора собирать грибы, сушить сухари в дорогу  
на дальний гул, к неуловимому эху.  
Там, наверное, ждут надежда и вера,  
в углу — антикварный недорогой треножник.  
Ну а если, дурак, ты пойдёшь налево,  
то просто получишь реально по роже.

\* \* \*

Весна, но как-то всё потемнело.  
Чёрные почки набухли ночью.  
Какое кому, в сущности, дело?  
Наше дело одиночное, волчье.

Не нужно уже говорить — пора нам.  
Хотя на самом деле пора, и  
каждой весной, как щенок-подранок,  
ищешь везде очертания рая.

Пока остывает вздох понемногу,  
пока собираешь вещи навскидку —  
неясно, чего собирать мне в дорогу.  
Наверно, бельё с пионерской меткой.

Заметной только таким же печальным  
искателям странным глубокого вздоха.  
Начнётся всё с осени первоначальной,  
вернее, с явлением первого снега.

\* \* \*

Чёрный ветер подул, и последние листья слетели.  
По глубоким оврагам ржавеет надежда души.  
Русский будущий снег — летаргия покойной постели.  
Я спокоен, я знаю — ничего мне уже не решить.  
Да и что там решать?  
Разбирать, что сказала душа, улетая?  
На каком языке? Отплывает беззвучно душа.  
И кириллицы звук постепенно в пески истекает.  
И, следя за полётом, я теряю слова не спеша.

## Остров

Мой остров утром покрывает туман.  
Изморось проникает в трещины обызвествлённой жизни.  
Он самый необитаемый из дальних и безымянных стран.  
Где-то рядом дыхание дымной бездонной бездны.  
Впрочем, бездна эта сродни синему океану.  
Витийствует где-то близко и по умолчанию,  
я вроде бы вижу: архетипы, символы, ну а в общем — пену.  
В свисте ветра из бухты слышится обещание.  
Никто мой остров не видит на звёздном своём пути,  
но тревожатся. Тут зияют дороги, тропинки, двери.  
Средь озёрных кривых зеркал себя с огнём не найти.  
Но моим теплом питаются ночью звери.  
Была тут одна, так тоже — и след простыл.  
То серьгу найду, то невпопад и вскрикну  
во сне... да и кто это сном назвал? Быль не быль.  
В снах жизнь обычно бывает смазанна и безлика.  
Но наяву по острову я иду один  
в ежедневный обход, от сырой зари до полуночи.  
А что обходить-то: чертовщина, бурелом да дым,  
и вдали давно погасли призывы о помощи.

\* \* \*

Пусть кошка спит, урчит чего-то —  
она давно не любит, что  
ложусь я пьяный по субботам,  
но я клянусь, теперь учтём.  
Вот лифт починят, будет лучше  
возить наверх бутылки, снедь.  
Вот женщина, она научит,  
как жить и как мне умереть.  
Но что касается утробной,  
глубинной жизни: там всё то ж —  
чёрт знает что за костью лобной.  
Обрывки тем, «в солонке нож».  
Сейчас весна, пора забыть бы —  
жить аллергией, есть мацу.  
И наблюдать за тонкой нитью,  
которая ведёт к концу.

\* \* \*

Ситуация грустная, моя дорогая.  
Ты — на Итаке, я — в Атлантиде.  
Что-то вроде подводного рая,  
где видны отраженья в полёте.  
Самолёты — к горам с океана.  
Но гостиницы тёмные ночью.  
Мы с тобой избежали Левиафана,  
но с собою боремся вечно.  
Борьба бессмысленна. Но когда я вижу  
тебя в цифровой красоте навскидку —  
при чём здесь, думаю, повороты жизни?  
Они сами в тоске пропадут бесследно.  
В темноте направление неизвестно.  
Неуловимы кольца их перелёта.  
Я меняю дом, кожу, за местом место.  
Душа всё плывёт на источник света,  
оставляя вес беспризорной плоти.

\* \* \*

Я теперь всё больше молчу.  
Не могу потерять те звуки.  
Позвонить мне, что ли, врачу,  
чтоб насыпал таблеток в руки.  
Я тогда ненадолго в провал.  
Невозможно, чтоб было хуже.  
Выплывает родной овал,  
так во сне на тебя похожий.  
И подумать — так можно жить,  
в темноте сплетаясь словами.  
Ты одно только мне скажи:  
мы ведь вместе в глубокой яме?  
Там есть водка, табак, есть снедь,  
две заколки, серьга и свечи.  
Мёртвым сном отдыхает смерть.  
Потому расставаться незачем.



## Приёмный покой

— А вы, собственно говоря, какое отношение к ней имеете? — спросили его в приёмном покое.

— Да я, в общем, седьмая вода на киселе и на тесте, просто люблю её, жду и всё такое.

Хочу с ней побыть хоть часок у постели,  
пульс проверить, я, знаете, врач ведь тоже.  
Можете мне, конечно, нисколько не верить,  
но наша любовь ни на что не похожа.  
Только скажите, я слышал — ей лучше?  
По всем показателям градусом выше?  
— Да, лучше, но вы не приходитесь мужем,  
и мы юридически не скажем лишнего.

У вас три минуты, заполните формы,  
вон на том столе, где пыльный крокус.  
Получите пропуск — ну, минуты четыре,  
в графе «степень родства» — оставьте пропуск.

\* \* \*

Горело окно в безвестной долине.  
Я молча сидел, разбирая листки.  
Откуда нам знать те тени по имени  
на тёмном изгибе последней тоски?  
Но дом был спокоен, и тихо светилась  
прозрачная ночь за пределами слов.  
Меня поднимала какая-то сила,  
но опускался прижизненный кров.  
И тёплая кровь недавнего срыва саднила,  
и мысль расплзалась по швам.  
Далёкая станция свет погасила.  
Я слился с тенями. Потом ты пришла.

\* \* \*

Утро вечера мудренее.  
Так что дожить до рассвета необходимо.  
Дел ещё видимо-невидимо.  
А поезда проносятся мимо.  
Там сидят, выпивают, дружат,  
на верхней полке целуются, греют  
ночь снаружи. Гарь, фонарная стужа,  
какие-нибудь Верея или Ревель.  
Я всё это вижу как в перископ подлодки.  
Я, в принципе, живу и работаю в батискафе.  
У меня там всё есть: немного водки,  
карта Леванта, пыльной Яффы.  
Ко мне подплывают донные рыбы,  
глядят в окно холодно, безучастно.  
Я для них экспонат странного вида,  
непознаваемый случай частный.  
Есть ещё подводные птицы.  
Летать им невероятно трудно.  
Каждый полёт их всю жизнь длится,  
я с ними летаю во сне подспудно.  
Я всё это вижу, в дневник записываю.  
Это вроде судового журнала.  
Любовь иногда промелькнёт, как искра,  
и потом оставит горячее жало.  
На том и спасибо, живу надеждой:  
вернётся ко мне запропавший голубь.  
Сигналы сюда доходят всё реже.  
Неважно — чудес у меня тут полный короб.

\* \* \*

Я хотел рассказать тебе наше житьё-бытьё  
вчера, сегодня, а ты говоришь — не вынести.  
Тогда я включил волшебный фонарь, и всё  
осветилось: цвета побежалости,

в сажу перрон, последний вагон в инее,  
местность — в провал, под откос убегающая.  
А ты говоришь: родной, Боже мой,  
куда же ты делся? По вагонам,  
на перроне остался?

А я говорю: пошёл я домой,  
туда, где, мол, ждут,  
в тридевятое царство.

А ты говоришь: кто же ждёт тебя, кто?  
Я же одна могу это вынести.  
Вот — твой окурок, шарф, пальто,  
папка в углу неоконченной повести.

Не до повести, тающий звук  
ведёт за предел беспредельной точности.  
Издали — всплеск говорящих рук  
и темнота обесточенной вечности.

## Голос

Я живу с фантомом голоса,  
он звучит, дышит, шуршит в ущельях  
моей души, по соседней крыше,  
в законном гуде и в лесной глуши,  
в городских ульях.

Он становится странным, далёким, но распознаваемым,  
плывёт по кайме сознания. В объявлениях аэропорта,  
когда я слышу то объявление — сжимается горло  
и я ищу билет подсознательно.

Голос как влага, всепроникающий, живой, но сквозь пальцы  
утекает, как жизни влага, и только сигнал тревоги  
зовёт куда-то не меня, однофамильца,  
но тем же голосом — бедолагу, близнеца,  
самоубийцу.

Что с ним станет — я теперь точно знаю,  
в одном овраге лежать нам придётся  
и слышать тот голос, но нам до края,  
так ослабев, — уж никак не добраться.  
Дожди прошли, и земля сырая.

Голос останется за пределом ткани,  
за пределом горечи, речи, ночи.  
И тогда, когда рельсы в хвою уйдут, под дёрн, и,  
как в Карелии погорельцы,  
всё думают, кто же напустил порчи,  
сидят и думают — однофамильцы,  
всё красивые рослые парни.

В этой жизни я думал, что всё могу и что выживу.  
Наверно, и выживу.  
Но тот голос бормочет что-то,  
теперь слабей и бессвязней.  
И я не знаю — то ли я слышу,  
то ли не слышу я,  
или голос наконец погас, канул в бездну.

\* \* \*

Сам себя вдруг спросишь: а зачем?  
Он ответит — карма, что поделаешь?  
То есть я тут вроде ни при чём.  
Кофе, на работу, спишь, обедаешь.

Говоришь с пустыми долго о простом.  
Но подспудно светит эта невидаль:  
даль необозримая да лес вдали густой,  
как у Бунина за сёлами и бедами.

Словно Белозерский монастырь,  
память ставит вехи побелённые.  
Поезд пролетел, на луг осела пыль,  
зазвенели сосны отдалённые.

Так и не ответил на вопрос зачем.  
Но пора уже идти, и вот на выходе  
долг отдашь и пропуск, форму, честь  
и шагнёшь в окно, вздохнув, на выдохе.

\* \* \*

пепельные капли на стекле  
трубка на столе погасла  
где-то ты летаешь на метле  
я скучаю в кресле  
ты пока по времени летишь  
я в пространстве вещи собираю  
в том саду где кущи и хвощи  
о тебе я песню сочиняю

а на самом деле никогда  
не избыть и мне такого чувства  
когда тихо говорит судьба  
и замолкнул барабан искусства

всюду безобразье и война  
нас с тобой спасёт борьба с идеей  
как прозрачна в воздухе весна  
над пустыней в дальней Иудее



\* \* \*

Так и болтаешься между вчера и завтра.  
Обмен теплом в одно касание.  
Себя ищу по контурным картам,  
да не разобрать на таком расстоянии.

Не видать, не выдать мест положения.  
Только гуд стоит над пустой равниной.  
Иду на свет с головой повинной  
до ворот со знаком  
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

\* \* \*

Пока собирался с мыслями, прошёл и ноябрь.  
Снега всё не было, тихо и серо.  
Странно и страшно смотреть в календарь  
прошлого года и позапрошлого,  
в низкое небо. Пахнет серой,  
жухлой листвой, сумерками,  
гнильём и завесой в небе над городом.  
Надо бы думать о видном, простом,  
единственном выходе,  
а они всё о родине.  
Глянь: столбы-то закончились, пошло мелколесье,  
разнотравье, товарищи в розницу.  
Я вот ведьму люблю,  
а какая разница,  
всё равно сижу, читаю, седею, обрастаю пейсами,  
не хожу за околицу.

\* \* \*

Оказавшись в одном купе,  
мы возьмём вторую бутылку.  
Свет за окнами потемнел.  
Дождь прошёл, умирая, мелкий.

Нам в последний раз хорошо,  
и чиста напоследок водка.  
Кто-то тихо в тамбур прошёл.  
Ты пойми — этот случай редкий:  
мы останемся в этом купе.  
Не нужна нам теперь пересадка.  
Берендеев лес пролетел.  
Я гляжу на тебя без остатка.

Вот мы рядом с тобой сидим,  
успокоясь, вот чай разносят.  
Я теперь не один, один.  
Ты глядишь на кругую насыпь.

\* \* \*

Я теряю стихи.  
Распадаются дни на заботы.  
И работа такая — позапрошлые буквы низать.  
Телефон, как наотмашь, звенит.  
Вполоборота  
я стараюсь не видеть его,  
чтоб совсем не пропасть.

Эта пропасть родная  
манит ужином, ночью и лаской.  
А потом настигает развязка  
у вешалки наперекрёст.  
То ли По почитать, таблеток ли горсть,  
чай вприглядку?  
А не то постучит в мою дверь  
известный мне гость.

Мы присядем, нальём по стакану и вспомним,  
как когда-то, когда я ещё  
так не живал,  
я его понимал. И посуду свою  
в пустеющем доме,  
собирая пожитки к утру,  
навзрыд раздавал.

\* \* \*

Рассредоточение приземистых коробок по ничьим холмам.  
Медленная миграция душ из мест отдалённых.  
Жизнь отдыхает, зима не зима,  
словно пристанище лиц перемещённых.

Что же делать, как сюда меня занесло,  
я не опознан, как те незаметные лица  
на эскалаторе, падающие в пекло, и слово  
где-то витает в туннеле, как странная тёмная птица.

Придётся признать: я нигде не живу,  
но документы для виду в полном порядке.  
Глухо постройки сквозь воздух бесстрастный плывут,  
будто на кладбище, ровные грустные грядки.

Жизнь продолжается, словно растущий кристалл,  
в этом холодном, озоном прожжённом растворе.  
Я засыпаю, слонов досчитавши до ста,  
и к изголовью подходит бесшумное Мёртвое море.

\* \* \*

Что рассказать мне тебе за отчётный период?  
Осень прошла, потом лето, потом незаметно  
странные вести дойдут на почтовой открытке,  
я бормочу что-то тихо, блуждая без места.

Времени всё же хватает на мелочи жизни:  
взять огурцов, захватить укропа.  
И шелестят вдоль Гудзона безвестные листья.  
Я же стараюсь посильно прожить по закону

влажной природы по-прежнему переселенцем.  
Голос услышать из западных дальних пределов.  
Видишь, как в воздухе бьётся соколом сердце,  
так же легко на тот голос взлетая над телом.

\* \* \*

Свободная речь по мере дыхания.  
Природа и годы здесь ни при чём.  
Последнее видится на расстоянии  
сквозь амбразуру свободы,  
кольчуга культуры с чужого плеча ни за что.

Милая девушка, мне бы поближе бы к выходу:  
воздух светлее и проще пойти покурить.  
По поводу речи: я имяреком на выдохе.  
Голос глухой в приглушённый срывается крик.

Да я ни о чём, о своём я о девичьем.  
Я сообщаю им о своём постоянном радении.  
Где-то поют мои камни во рту Междуречья.  
Месяц ладьёй выплывает в канун воскресенья.  
Свет от ожога на камне от  
в небо падения.

\* \* \*

Так остаёшься один среди них.  
Слышен сквозь сон приглушённый их смех.  
Женщины выходят за хлебом и молоком.  
А попадешься живьём — то волоком, то кивком.  
Побудешь, пока вахта кончится, — и домой.

Дома тихо, только сопит домовой.  
Кормишь его баснями о любви.  
Только не верит он, бьёт костяной ногой,  
говорит: пропадали и не такие лбы.

Ну ладно, хоть ты-то мог бы меня простить.  
А то непонятно, как дальше мне жить-тужить.  
Собирать ли мне впрок пожитки, солить грибы  
и по сусекам свечи гасить, где жили мы?

Да ладно, говорит он: коли так — живи.  
Что ж с тобой делать, в последний раз  
предупреждаю: с ними глаз за глаз,  
ошибки твои, словно шрамы, живут в тебе,  
сладки посулы ждут за углом с крюком.  
Я же тебе не даю пропасть, а который год ты ни ме ни бе.

Так что не верь ты в спасительность чудных фей.  
Стрельно в роще горелой поёт стальной соловей.

Лишь матерей твоих шепчет в дальних углах листва.  
Тихо зовёт из тумана тебя сестра.



\* \* \*

Нет фонаря, канала. Есть аптека:  
прохладный зал софитами залит.  
Я, что-то вроде австралопитека,  
гляжу на банки с ядами — навзрыд.

Но нечего терять. За мною бездна,  
там статуя зияет на краю.  
И никому давно не интересно,  
что я тебя по-прежнему люблю.

Мне невдомёк — что нужно там народу.  
Что нужно мне — я сам понять не смог.  
Но снится мне в нелётную погоду  
отставший пассажир — единый Бог.

\* \* \*

Я постепенно дичаю. Цветы завяли.  
Луч на кирпичной стене задержался и стоял.  
В сумерках сны, словно тёмная стая,  
тихо повисли, как в пыльном заброшенном зале.

Долго сочится физиология горя.  
Только не умер никто, никуда и не канул.  
Дни мои сонмом идут, как усталые звери,  
как облака к Атлантическому океану.

Голос откуда-то слышен. Не голос, но эхо.  
Но на каком языке с этих мест, непонятно.  
То ли она поминает заблудшего лихом,  
то ли ребёнок, проснувшись, бормочет невнятно.

Выну из сумки: «Закат догорает смертельно».  
Вновь уберу и достану: «И ветер рыдает».  
Улицей длинной и бездонно осенней  
женщина с сумкой куда-то уходит седая.

\* \* \*

Длится слов случайных горечь.  
Тени мечутся во тьме.  
Перед сном гуляет горе,  
на носу его пенсне.

Лучше выпьем чаю вместе,  
будем дома, сломан лифт.  
Всё равно доходят вести,  
и душа во сне болит.

Разговаривают души,  
всё же легче говорить.  
Ночью ты меня послушай,  
утром кашу мне свари.

\* \* \*

Частное лицо. Частный случай.  
Предназначенный  
приусадебный участок.  
Пока этот свет зачем-то мучает,  
течёт в сосудах горячая участь  
и истекает только часть её.

Растёт трава во сне задумчивая.  
Луна заумная за небо движется.  
Как там живётся, служится, дружится,  
какое теперь отечество, отчество?

И где-то вдали, за пределом века,  
облик её плывёт рассеянный.  
Мне только того и нужно. Наверное,  
время от времени хоть блик от облака,  
поезда клик в полях осенних.

\* \* \*

Не берегись, коли выйдешь на эту тоску,  
ближе к черте на прибрежном песке  
одиначества. Вести как отсыревших поленьев треск.  
Надо б додумать, но мысль повисает на волоске.

Кто-то там прав: судьба коротка и стрёмна,  
боль хоть сильна, но завянет гвоздикой без солнца.  
Я полюблю, хоть неровно, но верно надолго.  
Но уходить навсегда жизнь научит переселенца.

Я эту боль изучил по складам в пятом классе.  
Наглухо двери закрыты во всём околотке.  
Ни отголоска, ни эха, и вешние страсти —  
байки взахлёб в одночасье  
с дымом на выдохе рядом соседу по койке.

# Место для курения



\* \* \*

Наконец-то вокзал. Выхожу к платформам, к доске объявлений.  
Поезда идут по любым странным направлениям.  
А на доске написано — отправление неизвестно.  
Написано — прибытие неизвестно.  
Счёт ноль — ноль в пользу хозяев. Переучёт.  
Бегу по перрону, поезд отходит, пахнет дымом, горячей сталью.  
В проплывающих окнах, в купе, за столом, на полках —  
знакомые лица  
в поезде дальнем. Докричаться до них невозможно,  
куда — неизвестно.  
Стою на перроне и сам не рад, что в это ввязался.  
В запретной зоне, в полосе отчуждения. Сам виноват,  
жаловаться некому,  
все уехали. Съели курицу, допит самогон.  
Ну и ладно, теперь мне не к спеху.  
Подойдёт когда-то и мой вагон.



\* \* \*

там, за пределом добра и зла, тоже люди живут, жвачку жуют, используют уют, плюют в ручей и письма жгут. а поскольку электронку нельзя delete, я, как новоявленный гиппократ, раздаю антидепрессанты всем подряд в качестве маленьких таких наград за проигранные, да нет, не сражения, а игры — кто в лото, кто в скрэббл, а кто в бисер. а кто и всерьёз выбежал на мороз, и след простыл. сколько я ни аюкал и ни звал потом, сам в снег упал и думал, пока не заснул совсем. потом проснулся, а где же все? такой вот сад ледяных фигур, то моей жизни привычный сюр. только ты поймёшь: почём в горах закат, почему эти игры в моей и твоей судьбе. только и остаётся забыть про шабат и уехать в горы к тебе на запад... лучше бы насовсем.

\* \* \*

Вести доходят сквозь долгий висячий дождь.  
А от себя вообще давно ничего не слышно.  
Иногда звонит о детях родная дочь,  
и ещё кто-то порой прерывисто в трубку дышит.  
Я давно размышлял: не послать ли себе самому e-mail.  
Так, мол, и так: давно от тебя ни крошки.  
Иногда к моему окну прилетает случайный эльф,  
но его прогоняет прыжком моя чёрная кошка.  
Ау, дорогие, пишите, мой адрес — [agritsman@msn.com](mailto:agritsman@msn.com).  
Отвечу, когда снег завалит дороги и скаты крыши.  
Верую: строка взметнётся смертельным витком,  
если услышу — издалека ты в трубку прерывисто дышишь.

\* \* \*

даже твой automatic reply  
нескончаемый наш разговор  
что ж пожалуй это судьба  
или судеб двух уговор  
отсидеть неведомый срок  
подождать когда след простыл  
и у нас с тобой один грех  
никогда не сжигать мосты  
и ещё благодарен будь  
что не в тьму тараканьских степей  
не найдут навскид не убьют  
и вот даже дадут любить  
потому я и счастлив так  
знаком Рыбы осуществлён  
я люблю automatic reply  
я в него навсегда влюблён  
где бы ты ни была где нет  
мировых сетей проводов  
я тогда по связи сердец  
передам то что было до слов  
тот с собой у меня словарь  
он мою немоту хранит  
принесёт тебе календарь  
тихий голубь мой сателлит

\* \* \*

Место для курения выбрано правильно,  
не далеко и не близко от раздачи слонов.  
Она предпочитает кулон овальный,  
дымчатый, лучше любых обнов.

Обстановка по требованию. Выходить на следующей.  
Потом — всё без обиняков.  
В приёмной тихо, твой голос вещей  
что-то бормочет из облаков.

Теперь пора по делам, увидимся.  
Щучье веление в реестре вечном.  
Но держись, дорогая, подалее, посмотри на их лица —  
отмечены водкой, тресковой печенью.

\* \* \*

Охранительной бухты огни отплывают,  
остались последние приготовления.  
Туман Калифорнии медленно тает  
и застывает над Мысом Доверия.

Гарь расставания густеет над волнами,  
город невидимый в дым превращается.  
Двигается лодка рывками неровными,  
чуть отплывает, потом возвращается.

А я, достав бутерброд и пльзенское,  
надеюсь, что будет приятна экскурсия.  
В пуху тополином тонет Введенское,  
я туда возвращусь наутро.

\* \* \*

Поскольку ни Бродский, ни Бог, ни судья  
не знают, что там, за стеной,  
где иероглифом слово «судьба» на двери забитой одной.  
Ещё есть табличка, что там — эсхато-  
логический первый отдел.  
Я застегну шерстяное пальто, чтоб выстоять беспредел.

Пространство и время текут из глазниц  
туда, где Всевышний нас ждёт.  
А мы запускаем невидимых птиц  
в необратимый полёт.

\* \* \*

Нам с тобой не придётся расстаться.  
Делить нам нечего — чашки, ложки,  
за хвостом своим всё равно не угнаться,  
а бежать — только пыль умножить.

Впереди тебя — твоё сердца биение.  
Говорила — хранить своё имя собственное.  
Со временем улучшается дальнейшее зрение  
и видит не выход, видит последствия.

Мол, когда доживёшь — поймёшь, но поздно:  
что там курсивом, какие записи.  
Мы тут транзитом, дело сквозное.  
Пустые конверты в почтовой летописи.

\* \* \*

Антипов не пьёт! Ну, может, немного,  
не так, как Петров. Так, на дорогу.  
Грусти, посошок, хрусти издалёка.  
К жидовской питейной ведёт нас дорога.  
Вот так на Руси повелось безвозвратно,  
Антипов глотнёт поутру, вероятно.  
И я вместе с ним немного, однако,  
по косогору, вдоль буерака.  
А что ещё делать-то? Что нам осталось?  
Дорожная грусть, подорожная жалость,  
грозили мне съезжей, да местный я, братцы!  
Кричу, бормочу в темницу колодца.  
И слышу себя, себя — имярека. К подземной реке  
летит моё слово со скоростью света до дна.  
Без ответа.



\* \* \*

Мы все отплываем к тому же острову.  
В тумане нет лиц, паруса провисли.  
Плывём на огни, на костры или  
застыли в текучем невидимом иле.  
Трезубец гексаметра — наша Морзе,  
и выгибается до предела  
Вавилонская башня, но это после,  
по пересечении водораздела  
между этой и будущей эрой,  
пока ещё эрос течение движет,  
пока мы стареем в сём новом мире,  
уровень вод всё выше и выше.  
И нет языка, чтобы высказать это  
движения вод первобытное чудо.  
А мы закрываем глаза от света,  
у храма берём последнюю ссуду.

\* \* \*

Утром, мимо молчащих полей,  
в жизнь свою, полную диких молекул:  
словно в растворе живу, не доехал —  
до электрических дальних дверей.

Знаешь: веду разговор без ответа,  
многозначительно долго молчу.  
Сколько прошло с того давнего лета?  
С осени сколько? А впрочем, зачем

всё вспоминать? Просто ехать, минуя  
эхо немых и холмистых лугов,  
вдруг осознав: тишину эту всеу  
лишь оглушает паденьем глагол.

\* \* \*

Как же всё это объяснить,  
просыпаясь и засыпая?  
Словно сердце сжалось в горсти  
и во сне у постели — стая.

И я знаю, что не избыть  
до конца бытия, исхода.  
Будет в дверь колотиться быт,  
эта боль выживает годы.

Растворяется голос, вкус,  
образ. Спросят меня — о ком ты?  
Но сама отвечает грусть,  
отвечает стихом неровным.

Обещает не позабыть  
очертания Водолея.  
Это чувство, как благодать, —  
тень твою на краю аллеи.

\* \* \*

Баня топится. Обь течёт,  
лёд прозрачен и тонок. Ни звука не слышно.  
Ему там, далеко, совсем невдомёк,  
а может, наоборот, и ближе.

Баня топится. Гудзон крутится и ворчит.  
Небосклон прозрачен и хрупок.  
Она одна приходит тихо в ночи  
с куском последнего хлеба.

И мы смотрим на хлеб — надёжнее наших клятв.  
Тих твой березняк, тих мой осинник.  
Хорошо бы жену, да не найти никак.  
Всё ищешь на улице младшего сына.

Родная, разведи руками весь тот туман,  
морочь и скуку, топь, невзгоды.  
Там сидят друзья, пьют дурман, обман,  
ждут, дураки, у моря погоды.

Век кончается, едва лишь начав играть  
свои полутёмные, стрёмные игры.  
Где-то нас ждёт новый век-волкодав,  
но, слава Богу, мы оба наивны.

\* \* \*

Где-то за развалом домов, брандмауэров, пустырей  
и скверов,  
в кирпичном доме на краю города —  
за тёмным столом с обрывками писем, сухих листьев,  
чьих-то брелоков —  
сидит она долго одна, наконец-то поверив,  
хотя уж давно прошли все сроки.

Читает давнишнее; воздух, выдох, превратившийся в камень;  
халцедон коктебельский, гранат нью-йоркский,  
прозрачный янтарь с времён заморских,  
с берегов, где заросший подбитый торпедный катер.

Всё, что мне нужно знать, выжить, поверить:  
что сидит она там, за столом, одна, читает.  
Задумчиво слышит, как зову я прерывистой речью,  
засыпанной снегом, белым песком,  
странным чужим говором дальним.  
Читает, вспомнит, выпьет чаю,  
в календарь прошлогодний глянет.

## 15-я Парковая

Он вышел за хлебом и молоком.  
Она зашла к соседке за солью.  
До вас до балкона подать рукой,  
но в руках авоськи висят до боли.

Туда мне, пожалуй, и не дойти.  
Их этаж висит над кольцом троллейбуса.  
Так бы и жить, когда жизнь в горсти,  
а не загадкой заморского ребуса.

Я шагнул тогда вдаль, отмахнув легко.  
Предпоследняя жизнь — фантомной болью.  
Он вышел тогда за хлебом и молоком.  
Она — навсегда — к соседке за солью.

\* \* \*

Я не знаю, что будет завтра.  
Дождь, разлука, с миру по нитке.  
Там, где лежу, — провал слева,  
справа сопит чёрная кошка.  
Голубь порой к окну прилетает,  
да и тот, скорей всего, с орнитозом.  
Мысль печально годы листает —  
помнишь, какие были заносы...  
Денвер закрыт, и Эл-Эй, и Ньюарк.  
Как-то давно всё это было.  
Вчера, когда брился, нашёл на полке  
давний кусок бельгийского мыла.  
Так всё и идёт — твой окурок,  
скол на стакане, забытая книжка.  
Этих сплошных ожиданий морок  
дышит оврагом глухим, нездешним.  
Но и спасибо кому-то за это,  
за светлые пятна от встреч на жизни.  
Жизнь — это слов, умолчаний меты —  
всё на краю нашей общей бездны.

\* \* \*

«Слово и дело! Слово и дело!»  
Ключьями крик по замёрзшей равнине.  
Снова ворота помечены мелом.  
Леший с корягой ждёт и поныне.  
Всё ещё звон от монгольского гона.  
Всё ещё свет от костров поминальных.  
Теплится кровь от тихого Дона.  
Гуд поездов товарных и дальних.  
Выдох и вдох на широких равнинах.  
Слышится колокол по перелескам.  
Щерится чаша в дзотах и в минах.  
Но по прилавкам колбасных обрезков,  
пива навалом, воблы и сала,  
вкусных девиц и бездонного газа.  
Ну а вообще-то, что ещё надо?  
Чтобы хватило с прошлого раза.

Еле заметен на небе едином  
облик звезды первоначальной.  
Дышим щемящим тающим дымом,  
тихо плывущим от Междуречья  
мимо бесцельно погибших печальных.



\* \* \*

Новомученик Проферансов\*  
расстрелян осенью тридцать седьмого.  
В храме Святой Троицы один из образов.  
Стенгазета итогов  
смертной жатвы. Бородатые лица.  
Тёмные фото. Кто из столицы,  
кто из-под Тулы, может, мой прадед?..  
Осеннее небо свинцом придавит.  
Дождь и слякоть.  
Спит Подмосковье.  
Глина и супесь смешаны с кровью.  
Кто его знает, как мученик кончил.  
В печень ли, в сердце? Расстрел полночный.  
Фото из дел — серые маски.  
Странно пришельцу, транзитному jude.  
Эта весна — осень как будто.  
Странно справлять православную Пасху,  
вторя молчаньем набатному гуду.

---

\* Фамилия моего прадеда из-под Тулы. Связана с духовным сословием.

\* \* \*

На широких пространствах судьбы оседает пороша.  
Вечереет и тает в глуши обугленный храм.  
К передвижникам тихо идёт одинокий прохожий,  
не одет по погоде, да и выпить давно уж пора.  
Он до станции дальней дойдёт и присядет  
там, где касса закрыта и мёртвый погас семафор.  
На скамейке у клуба две старые пьяные тётки  
отдыхают культурно, не видя беднягу в упор.  
Но зато в магазине есть молдавское бренди и «Уинстон»,  
а в окошке избы мутным глазом глядит интернет.  
Ну а если пройти по оврагу и к речке удушливой низом,  
там кто-то хрипит, как хрипел уже тысячу лет.  
Но мерещится холм, и на нём возвышается город.  
Там никто не живёт, и закрыт он на переучёт.  
Понимает прохожий: ему данная жизнь — только повод.  
И неясно, куда эта вечная речка течёт.

\* \* \*

Я из леса уйду, выйду на полотно.  
Полоса отчужденья, безвременный пояс.  
Никого я не жду, только знаю одно:  
остановится здесь местный медленный поезд.  
Подождёт и уйдёт в плоскодонную степь.  
У меня и билет тот потеряян.  
Словно в зеркало, гляну в небесную твердь.  
Всё, что знаю, — что жребий измерен.  
Но до города я никогда не дойду:  
холм высок, всюду проволока и барьеры.  
Я в заброшенном тихом прилягу саду,  
где ночной ветерок с дальним привкусом веры.

\* \* \*

Слово никто не расслышал.  
Времени не существует.  
Дверь в пространство — за лазерным облучением.  
Где-то кукушка в пустой избе кукует.  
Волки воют на дрон беспричинно.  
Вот такая у нас идёт катавасия.  
Только погода неизбежно меняется.  
Тянет лямку до смерти бедный Савраска.  
А умный всё так же сосёт из пальца:  
гной с сиропом, серу с ртутью. Падаль  
легко распадается на элементы почвы.  
Что гектометры? Экая невидаль!  
Пока живём, смерть-то — она заочна.  
Как институт в коридоре с портретами страшными.  
Их именами мы все клянёмся.  
Лишь костёр последний шевелится непогашенный  
на другом конце города на пустом погосте.

## Осенняя соната

«Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Он — на угловом диване:

курица из супермаркета,

картофельный салат,

немецкий, с горчицей,

«Heineken light».

«Челси» — случайный гол

с углового. «Абрамович

заменит тренера», — он думает.

Она в городе. Раньше в мотеле

с любовником. Теперь —

по бутикам.

Тишь и гладь. «Пора, — он думает, —

перекрасить веранду». Овертайм,

ещё банка пива. Она снова

не отвечает. Мобильник в машине.

Не забыть от давления — ему.

Она — в «Бланик» до закрытия.

Обменять туфли.

Листва желтеет,

изумруд под утро.

Гуд пригородного состава

Metro-North

в холодеющем

осеннем воздухе,

пропадающий

на пути к дальнему острову.

Навсегда.

\* \* \*

Осторожно. Не прислоняться.  
Двери закрываются.  
В вагоне пусто.  
Сесть, что ли, в угол,  
почитать Пруста,  
Кабанова, Рильке ли, имярека.  
Грустно. В вагоне ни человека,  
ни души, только отсвет звука.  
Входим в тоннель. Ну какая сука  
так вот придумала —  
жить с этим бредом?  
В той темноте, черней, чем сажа.  
В ожидании света.  
Что скажешь, Саша?

\* \* \*

Разве жизнь эту можно вынести,  
просыпаясь и засыпая?  
Словно тайная горечь выкреста  
всё же дышит, едва живая.

Ничего не понять, не ведая,  
где те струны, что за пределом  
цвета, звука. Но, с тьмой беседуя,  
вдруг поймашь звук между делом.

И поймёшь — до конца не вынести  
одиначества тень прозрачную.  
Две души за пределом истины  
словно дали обет безбрачия.

Так тоска пьёт опивки прошлого,  
дышит давним прикосновением.  
За окраинами заросшими  
ветра тёмного дуновение.

\* \* \*

Горечь, переплавленную в слова, —  
плеснуть в лицо — умникам, умозрителям.  
Тычется пьяная голова слева направо  
в жизни цветной дурной телевизор.

Покажут картинку — как люди живут,  
как едят легко, медленно пьют,  
собеседника уважают,  
ублажают, градуса не снижают,  
чего-то жуют.

Что ж, мы-то с тобой уроды,  
пьём настойку на травах,  
нам только известных,  
на бессловесном бреде,  
на падежах, корнях бесполезных.

Наверх нам нельзя, но есть место родное:  
снег тихо идёт на дорогу в долине.  
Нас там ждут, то есть мы — друг друга.  
Съёмная комната, кровать, надежда.  
Вот так и живём, идём по кругу.  
На жизнь за окном — снег падает свежий.  
Голоса нас зовут,  
но всё реже и реже.



\* \* \*

Задумчиво я пил мохито  
и, размышляя о Бахыте,  
ещё и водки заказал.  
И думал я — как мало нужно  
нам, в общем-то, чтоб славно жить:  
смотреть на чудо пред собою,  
в мозаику славянских слов,  
когда волшебник пьяный нежно,  
небрит, всклокочен, из глубин  
вдруг достаёт свой неизменный  
с казахской негой неизбежной  
непостижимый клавесин.  
Да я и сам по переулкам  
иду уже который год,  
и счастлив я: то Лёшу встречу, то Сашу,  
то кого из дев,  
прекрасных, нежных и опасных.  
Бредёт Володя в бороде  
в Нью-Джерси, в дальний беспредел.  
А то себя вдруг повстречаю.  
В такие дни я понимаю,  
что жизнь случается играя.  
Плывёт Гудзон, за далью даль.  
Сидим в моей скворечне светлой  
и пьём мы «белое вино».  
И так светла моя печаль.  
Бахыт напротив, рядом Лена  
Всё остальное как-то бренно,  
летит, как мусор по ветрам.  
У нас тут ветер по долине,  
и мы на птичьем языке

ведём беседу, не скучаем  
о стародавних временах.  
Скучаем лишь о Люсе, Боре,  
о Саше, в нашем разговоре  
живёт безмолвная струна.  
И хорошо мне, стих мерцает.  
К закату выхожу с крыльца,  
иду к реке, гляжу на воду.  
«Я вспомнил, по какому поводу...»

\* \* \*

Господи, как я хочу начать сначала!  
Поселиться в пригородном домике,  
окружённом магнолиями и покосившейся  
деревянной оградой.  
Выносить мусор по средам,  
банки-бутылки — по четвергам.  
Приезжать домой вовремя.  
Рассказывать о событиях дня.  
Распускать галстук, плотоядно глядя  
на индюшачьи котлеты.  
Долго спокойно курить, наблюдая,  
как ты сортируешь почту.  
Смотреть сериал вполглаза.  
К двенадцати лечь, почитать  
дневники Кафки, просмотреть  
стихи в последнем «Нью-Йоркере»,  
напоминающие скелеты лодок  
на берегу пересохшего озера.  
Ощутить счастье обитаемого  
острова в океане.  
Дождаться момента наступления  
твоего лёгкого женского сна,  
плывущего всё дальше от меня  
к берегам девичьего детства.

Улучив момент, выскользнуть из постели,  
бесшумно выломать дверь счастья,  
выскочить наружу,  
бежать куда глаза глядят  
мимо чужих фосфоресцирующих окон,

оставляя клочья шкуры на  
ветвях деревьев. Добраться  
до окраинного сырого оврага,  
где всё ещё тлеет тот костёр,  
пахнет дымом неизвестного  
мне дерева, найти место,  
где я когда-то спрятал то,  
что всё равно не могу найти,  
заметить тень её фигуры,  
стремительно ускользающей  
в темноту.

\* \* \*

Догонял на пути улетевший дым,  
горизонт по ходу дела искал.  
А потом осознал, что совсем один.  
Никто не помог, догадался сам.

И тогда пошёл не в разнос, в себя.  
Сам себе очки протира́л-втирал.  
Это кто? А кто ж ещё — это я!  
Это наша с тобой на прорыв игра.

В перископ души увидал луну.  
Но д. р., рост, цвет глаз, ПМЖ —  
не забудешь, когда ты бредёшь по дну  
в ту страну, где живут ещё и уже.

\* \* \*

Вроде уже нечего решать.  
Горизонт молочный недвижим.  
Надо бы, наверно, не спеша  
осознать, что вот она — есть жизнь.

Выступаешь тёртым калачом.  
Чай остыл, но крепок кофеин.  
И никто теперь уж ни при чём,  
и лицом к лицу сидишь один.

Но решаешь снова, как юнец,  
куда документы подавать.  
Где-то быстро говорит отец.  
Головой качает где-то мать.

\* \* \*

Я читал Чехова у постели матери в больнице для престарелых.  
Короткие рассказы. Поздний свет несмелый  
сочился сквозь окно — рама стояла на томике Куприна.  
На крики больных семенили медсёстры, филиппинки, цветные.  
Места нагорные висели в закате, ей недоступном. Была весна.

Я дочитал, проверил растворы, тронул мел лба  
и вышел, размышляя о том, что время течёт для нас по-разному.  
Для меня — неделя, для неё — минута, месяц ли, годы,  
и бормотанье, слов предтеча, становится также праязыком  
другого молчания. Что ещё вспомнить? В такие погоды

на расстоянии «Еврейский дом» на холме  
кажется усадьбой Набокова или Бунина,  
то есть почти родной речью,  
перенесённой в таинственную индейскую долину.  
И чем дальше маячит тот дом за пределом,  
тем всё более и более ткань бытия,  
цвета, запаха, боли — для тебя,  
да и для меня  
постепенно становится  
ветром в кронах,  
в овраге мелом.

\* \* \*

Мы всё уже проходили.  
Газеты — невыученный урок.  
Словно свет в небесах погасили,  
стал не виден обитый порог.

Там не раз спотыкались, ломали —  
кости, надежды и судьбы тех,  
кто в гробу как в школьном пенале,  
на память взяв первородный грех.

Но ему не до нас. Ждать потопа, Гоморры?  
Какая плата за идиотизм?  
Молчит, задремав, Средиземноморье,  
закатным оком блеснув на миг.

Что ж делать? Ответ сгноили. Но всё же:  
детей не есть, барана разбить,  
кровь не хлебать, и тогда забрезжит  
на той стороне, где земля родная,  
охранная линия береговая,  
до которой нам  
никогда не доплыть.



\* \* \*

Нахмуришься, пересчитаешь в карманах мелочь,  
стараясь не думать: дел-то сколько.  
Ну что, одному тебе стало легче?  
Привычная жизнь с привычной болью.

Но меньше пить и закусывать можно.  
Кому-то когда-то недодал по роже,  
теперь дотянуться отсюда сложно.

Да имеет ли смысл; кто помер, кто где-то  
своё допивает и смотрит в стену.  
Туда порой наезжаю летом,  
но девушки все уж давно не Лены.

Есть Вари, Оксаны, Глафиры, даже  
есть Фиры с крестами, нет отъезжантов.  
Впрочем, мотаться туда всё реже  
охота — на Плешку да на звон курантов.

По тебе скучаю, сказать по правде.  
Хорошо бы ночью без снов проснуться.  
Особо тяжело лежать на правом  
боку, но не повернуться.

Лежать клубком и глядеть в пространство.  
Темно, как до сотворенья света.  
Боже правый: ведь это данность,  
и счастье, что нет ответа, нету.

\* \* \*

И молчание — тоже ответ.  
Да и не о чем говорить,  
когда словно в пивной галдят  
и когда сознание спит.  
Да и некому разбудить.  
Декабристов боле нема.  
Всяк одет, обут, пьян и сыт,  
и забыты простые слова.  
Не осталось почти никого.  
И дракон уже отпер ад.  
А казалось нам, что легко  
возвратиться в цветущий сад.  
Лечь в долине меж тёмных рек,  
преломив вместо хлеба кварц.  
Что там думает имярек,  
отхлебнув после водки квас?

## Отчёт о поездке

Побывал я недавно в стране ГРУ,  
где алеет восток на пустом Москворецком.  
Там хожу по проезжей, искушая судьбу.  
Что ж, в Москве не бывал я в мертвецких?  
Были лучшие годы — серебряный спирт,  
«Жигули», то есть пиво с прицепом.  
Где в больничном листва прошлогодняя спит,  
Via Vitae — пустынным лицеем.

Я там дома. Там Глеб меня в рюмочной ждёт.  
Юлик тонко планирует ужин.  
Салимон на диване, мечтая, лежит.  
Ему только Бунин и нужен.  
Ну а мне-то что нужно? То девушкам знать.  
Украшают пленэр тот унылый.  
Если честно — им нечего больше и ждать.  
На перроне судьба их застыла.

А они всё же верят в живую судьбу.  
Понимаю и тоже я верю.  
Помню светлых, им тесно в осинном гробу.  
Запах почвы, пропитанной серой.

Как и раньше, шеренги на запад идут.  
Край наш скошен полковничьей бритвой.  
Каждый третий ступает по тонкому льду,  
и на свору шипит Лжедмитрий.  
Поучают детей в ожиданье татар.  
И грозят нам светящейся палкой.  
По сосудам плывёт маслянистый товар.  
Хорошо всё. Людей только жалко.

\* \* \*

После римских чудовищных игрищ  
Азазель судьбоносный вздремнул.  
Съел на завтрак питательный овощ,  
на экран полнокровный взглянул.

Просчитав в перерыве медали,  
он холёные рыла собрал.  
Приказал нажимать на педали,  
закрутился смертельный аврал.

Море, небо, земля — всё покрылось  
мокрым, слизистым слоем речей.  
И кивают холёные рыла  
обладателю страшных ключей.

Смертно смотрят из прошлого века,  
кто коснулся последнего дна.  
Пахнет серой, и кровью, и мраком,  
и идёт небольшая война.

\* \* \*

Остановка в пустыне на семьдесят лет.  
Осыпается быт, потускнели  
чёрно-белые фото и горстка монет,  
и стоят безучастные ели.

Заметает позёмка, в пургу на восток  
и на запад летят самолёты.  
На Вест-сайде — и Броды, и Белосток,  
по вокзалам прощается кто-то.

И колеблется пламя субботних свечей,  
тлеют молча в подвалах мундиры.  
А тот город родной — оказался ничей:  
проститутки, барыги да воры.

Позовут на посадку — последний полёт,  
он всегда до скончанья последний.  
«Он, простите, давно уже тут не живёт,  
он уехал, ничей не наследник».

В тех местах давно уже нет ничего.  
Только ждёт он себя и поныне,  
там, где визы дают, — «переучёт»  
лет на сто. Остановка в пустыне.

\* \* \*

Наступили конечные времена.  
Отовсюду ползёт по устам пелена.  
Да какая страна, никакая страна.  
Так война не война.

Ловим рыбу у берега чёрной дыры,  
чтоб наестся на память чёрной икры.  
Но, в общем, ребята, не страшно,  
коль есть Вавилонская башня.

Подтяну-ка ремень, подворотничок  
и отдам арамейскую честь.  
У меня до сих пор не зарос родничок  
и вообще аномалии есть.

А Господь, он является тайно во сне.  
«Поднимите мне веки», — бурчит.  
Кто погиб на войне, кто остался в печи,  
кто ДР, так ведь всех не учесть.

Ну, попробуем: первый, второй, и шестой,  
и двадцатый. Но дрогнет рука.  
Там, под хладной и безымянной плитой,  
в темноте протекает река.

## Псагот

Мастерская на краю пустыни. Темнеет.  
Взрывы и грохот арабской мускусной свадьбы.  
Нам здесь втроём хорошо, Мише и мне.  
В воздухе запахи гари, судьбы и субботы.

Между Амманом, Рамаллой, мошавом, каменным морем  
Миша наносит полутона и оттенки.  
В тёмных углах полотна мерещится горе.  
В этих местах ты в полуметре от бездны.

К ночи за восемь минут остывает пустыня.  
Пора бы домой, но удаляемся мимо.  
В ветре гортанном послышалось дальнейшее имя  
в трёх блокпостах по долине  
от Иерусалима.

\* \* \*

Льез — Нью-Йорк.  
Нальёшь по последней.  
Шарф на горло повяжешь — пока.  
По дороге в Нью-Йорк собеседники —  
бесконечные облака.

Но француженке рядом не спится:  
облучение от меня.  
В темноте будто светятся лица  
от тоски и немного огня.

У окна разберу свои вещи —  
от Москвы до крайних углов.  
В этой зоне и воздух разрежен,  
и неслышны призывы гудков.

Но туда мне и визы не нужно.  
Я пройду незаметно сквозь строй.  
Неопознан, не обнаружен,  
пока длится отмеренный срок.

Где же ты? Может быть, уже дома?  
Где мой дом? Там, где куришь одна.  
Может, хватит глотка кислорода,  
чтоб коснуться небесного дна?



# Содержание

## Прогулка по родному городу

Прогулка по родному городу .....	5
«Матросская тишина...» .....	8
«Гудериан трогает усы...» .....	9
«Ничего не осталось...» .....	10
Яма .....	11
«Не копи в себе одиночества...» .....	12
«Что ж, говорить на птичьем языке...» .....	13
Катер .....	14
«Если в бездну смотреть достаточно долго...» .....	16
«Жизнь расточаю, как вода точит камень...» .....	17
«Начало июня. В Бостоне ураган...» .....	18
«До меня доносится шум и гам...» .....	19
«Я всю жизнь прохожу из комнаты в комнату...» .....	20
«Дома кажется совсем темно...» .....	21
«Одному оставаться не страшно...» .....	22
«На лепестках рисунков Хокусай...» .....	23
«Прохожу по странным городам...» .....	24
«Проснулся в поезде...» .....	25
«Словно ферматик с ворохом...» .....	26
«Ты живёшь на заливе...» .....	27
Случай из практики .....	28
«Я дышу вместе с лесом по мере движения крон...» .....	30
«Чтобы тебе меня понять...» .....	32
Сентябрь в Нью-Йорке .....	33
Над миром .....	34
«Каждый отвечает за себя...» .....	35
Нью-Йорк .....	36
«Ветер стих. Зайди за угол, передохни...» .....	37
Брайтон-Бич .....	38
«Ветер в долине Гудзона...» .....	40
«Память спит в банке с маслянистым раствором...» .....	41

Север .....	42
История семьи .....	43
Колизей .....	44

## **Спецхран**

Из библейского цикла .....	47
«Издали с оливковой веточкой в клюве...» .....	48
Исход 33-34 .....	49
Боргезе .....	50
«Не понимай, просто принимай...» .....	51
«Как стареет женщина?...» .....	52
«За этой чертой только ржавые рельсы...» .....	53
«Под конец он ждал, чтобы она пришла...» .....	54
«Всё, что я делаю на самом деле...» .....	55
«Не кручинься, живой твой голос...» .....	56
«Что же. Так мы и будем жить...» .....	57
«Сегодня заглянул в спецхран...» .....	58
«Я не знаю, имеет ли смысл...» .....	59
«Мы с тобой на всё это смотрим...» .....	60
«Серый день: ни комментариев, ни лайков...» .....	61
«Фейсбук мне предлагает дружбу...» .....	62
«С ними со всеми я связан прозрачными нитями...» .....	63
«Небо будет сине и бездомно...» .....	64
«Окончательный ордер так и не пришёл...» .....	65
«Весна, но как-то всё потемнело...» .....	66
«Чёрный ветер подул...» .....	67
Остров .....	68
«Пусть кошка спит, урчит чего-то...» .....	69
«Ситуация грустная, моя дорогая...» .....	70
«Я теперь всё больше молчу...» .....	71
Приёмный покой .....	72
«Горело окно в безвестной долине...» .....	73
«Утро вечера мудренее...» .....	74
«Я хотел рассказать тебе наше житьё-бытьё...» .....	75
Голос .....	76
«Сам себя вдруг спросишь: а зачем?...» .....	78

«пепельные капли на стекле...»	79
«Так и болтаешься между вчера и завтра...»	80
«Пока собирался с мыслями, прошёл и ноябрь...»	81
«Оказавшись в одном купе...»	82
«Я теряю стихи...»	83
«Рассредоточение приземистых коробок...»	84
«Что рассказать мне тебе за отчётный период?...»	85
«Свободная речь по мере дыхания...»	86
«Так остаёшься один среди них...»	87
«Нет фонаря, канала. Есть аптека...»	88
«Я постепенно дичаю. Цветы завяли...»	89
«Длится слов случайных горечь...»	90
«Частное лицо. Частный случай...»	91
«Не берегись, коли выйдешь на эту тоску...»	92

## **Место для курения**

«Наконец-то вокзал...»	95
«там, за пределом добра и зла...»	96
«Вести доходят сквозь долгий висячий дождь...»	97
«даже твой automatic герлу...»	98
«Место для курения выбрано правильно...»	99
«Охранительной бухты огни отплывают...»	100
«Поскольку ни Бродский, ни Бог, ни судья...»	101
«Нам с тобой не придётся расстаться...»	102
«Антипов не пьёт! Ну, может, немного...»	103
«Мы все отплываем к тому же острову...»	104
«Утром, мимо молчащих полей...»	105
«Как же всё это объяснить...»	106
«Баня топится. Обь течёт...»	107
«Где-то, за развалом домов, брандмауэров...»	108
15-я Парковая	109
«Я не знаю, что будет завтра...»	110
«Слово и дело! Слово и дело!..»	111
«Новомученик Проферансов...»	112
«На широких пространствах судьбы...»	113
«Я из леса уйду, выйду на полотно...»	114

«Слово никто не расслышал...» .....	115
Осенняя соната .....	116
«Осторожно. Не прислоняться...» .....	117
«Разве жизнь эту можно вынести...» .....	118
«Горечь, переплавленную в слова...» .....	119
«Задумчиво я пил мохито...» .....	120
«Господи, как я хочу начать сначала!..» .....	122
«Догонял на пути улетевший дым...» .....	124
«Вроде уже нечего решать...» .....	125
«Я читал Чехова у постели матери...» .....	126
«Мы всё уже проходили...» .....	127
«Нахмуришься, пересчитаешь в карманах мелочь...» .....	128
«И молчание — тоже ответ...» .....	129
Отчёт о поездке .....	130
«После римских чудовищных игрищ...» .....	131
«Остановка в пустыне на семьдесят лет...» .....	132
«Наступили конечные времена...» .....	133
Псагот .....	134
«Льеж — Нью-Йорк...» .....	135

Андрей Грицман. Спецхран

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

*Автор благодарит Виктора Ярошенко,  
Галину Климову, Евгения Степанова,  
Марину Адамович и Наталью Гастеву  
за журнальные публикации стихов  
и Лилию Газизову за помощь в подго-  
товке книги.*

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 25.12.2017

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 8,75.

Тираж 500 экз.

Андрей Грицман родился в 1947 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. С 1981 года живёт в США, занимается онкологической диагностикой. Учился на литературном факультете университета Вермонта, получил степень магистра по американской поэзии. Пишет по-русски и по-английски. Стихи и эссе публикуются в российской, американской и британской периодике. Автор пятнадцати книг стихов, эссеистики и прозы на двух языках. Стихи включались в международные антологии, переводились на несколько языков. Издатель и главный редактор международного журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), основатель Международного клуба поэзии в Нью-Йорке.